

Жизнь любого человека — это рассказ или повесть, сюжет или сценарий, пьеса или роман. Брат однажды мне так и сказал: “Вот взять хотя бы нашего соседа Андрея Петровича, так о нём же целый роман написать можно!”

Меня это тогда почему-то очень удивило, но теперь, по прошествии годов моей жизни, в которой Петровича нет уже более двадцати лет, я понимаю, что да, написать можно, но только не роман, а рассказ, и то лишь в связи с последней нашей встречей. А тогда, в добрые старые времена (которые на самом-то деле, по глубокому моему убеждению, всегда одни и те же) мы жили в коммунальной квартире, и первое моё воспоминание об Андрее Петровиче было то, что он называл меня почему-то всегда по отчеству: Иваныч. Так он звал меня всегда, и только так, и мудрость такого его решения мне становится ясна лишь теперь. У него самого детей не было, а мы жили без отца: мама, мой брат и я; а у папы была другая семья, и там росла сестрёнка. “Иваныч, ты куда пошёл? — В туалет. — А, ну ступай, ступай!”

Андрей Петрович жил в соседней комнате с женой и матерью, дряхлой старухой, лежавшей почти без движения у стены, покрытой ковром, потом она умерла. Андрей Петрович был столяр, ходил в кирзовых сапогах, курил “Беломор”, с утра долго прокашливался, а вечером каждый раз приходил пьяным или сильно пьяным, а иногда и просто “в стельку”. Но всегда как-то добирался сам, не помню случая, чтобы его приносили. Пахло скипидаром

и денатуратом, его он шил перед получкой, когда рубли и копейки кончались. Уходил он из дому раньше всех, а я — вторым, в школу, поэтому мы часто сталкивались с ним и общались в эти тёмные долгой зимой минуты. “Чи бачишь, Иваныч, — чи не бачишь?” — шутил он обыкновенно. “Бачу, — отвечал я привычно, — бачу”. Вместо портфеля в руке его был потёртый деревянный сундучок с инструментом, предмет моей тайной мальчишеской зависти. В сундучок он клал пакет или свёрток с обедом, который ещё с вечера собирала ему жена, Лизавета Николаевна, такая же добрая и толстая женщина, дебелая, косоплая, не рожавшая, и не работавшая, занимавшая половину общей кухни, немного важная, всегда спокойная. Однажды я увидел, как Андрей Петрович смачно хлопнул её ладонью по тому, что являлось её самой внушительной особенностью, в ответ он тут же получил не менее внушительную оплеуху.

Однажды они дрались в прихожей на полу у самых полуоткрытых дверей, в которые один из них не успел выйти. Дрались молча. Пыхтя и хватаясь за волосы. Молча, чтобы не выносить сор из избы, как говорят. Оба были в прошлом деревенские, из Подмосковья. Тогда ещё и в самой столице хватало по окраинам самых настоящих деревень. Петровичу Лизу сосватали, и эта самая сваха пришла к ним в гости, не то что по праздникам, а едва ли не каждое воскресенье. Потому что они её угощали по деревенскому обычаю. Такие же крепкие связи у них оставались с крёстными и кумовьями, по традиции, хотя ничего церковного или религиозного не наблюдалось в их быту, не считая покраски яиц на Пасху, что было общим явлением, и к вере отношения не имело. Так и звали друг дружку: крёстный, кума и т. д. Нам это было в диковинку: родители мои были оба атеисты, хоть и крёстные когда-то ещё в революционные годы, будь они прокляты.

Из той жизни была и гармонь, с которой мой Петрович выходил по большим советским праздникам на улицу и играл, сидя на скамеечке у входа, на законных основаниях, от завтрака до обеда: чисто выбритый, слегка под хмельком, в начищенных до блеска сапогах, в белой рубашке, туго застёгнутой на верхнюю пуговку, красный, улыбочивый... И никто на него не серчал за нестройные звуки, напоминавшие песни прошлых лет. Ну, как же: Первомай, Восьмое марта, Великий Октябрь, если ещё до снега придётся. Дома играл он редко; например, на свадьбе у брата, который женился рано. Так что свадьба у Серёньки была настоящая, с гармошкой, то есть. День Победы потом ещё прибавился. Тогда добавлялась медаль на лацкане: осень сорок первого; помнят моего соседа заросшие бурьяном рвы, помнят окопы молодого худого румяного и... счастливого подростка.

В столицу его перетянула стройка сталинских высоток, вобравшая в себя множество не только окрестных сёл и деревень. По столярному делу, значит, доставшемуся Петровичу от отца, от ещё дедовской любви ко всякому доброму дереву. В те годы, что делили мы крышу в коммуналке, он и работал-то рядом с одной из тех высоток, рядом с площадью Восстания, как она тогда называлась, на Пресне. И вот теперь он ходил туда и обратно в наш Зачатьевский переулочек, что между Остоженкой и Москвой-рекой, на работу пешком. В сапогах. Туда — пешком, обратно — ползком...

Однажды наблюдал я, как он держится за забор, обклеенный афишами гастролей. Подъехала милицейская коляска, с прицепом, сейчас таких нет. Нарушителей в коляску сажали, чтоб не сваливались по дороге в участок или чтоб не сбежали. Тот, что за рулём, хотел Петровича взять, а второй, что сзади, отвечает ему: не надо, это наш. И уехали; всё просто очень. Наш, он и в Африке наш... Курил Петрович дома, легально, но только у себя в комнате, сидя на стуле за круглым столом, застеленным скатертью, на которой стояла большая пепельница из толстого стекла под хрусталь. На стене — картина Шишкина, где сосны во ржи растут. Или в пшенице. Мачтовые. Небо синее с белыми облачками. Газету выписывали “Советская Россия”. Её Петрович читал, сидя у окна в кресле, надев очки с довольно сильной диоптрией.

Долгое время телевизор у нас в квартире был почему-то только у них, у Махониных. Наш “Рекорд” появился позже. Но зато у них это был КВН, с линзой, заполненной вязкой жидкостью, и в ней, как в аквариуме, вешали

головы дикторов. Ещё жидкость была в трёхлитровой банке с чайным грибом, из которой Лиза находила мне иногда сквозь марлю на горлышке кисло-сладкую полезную жидкость, особенно вкусную жарким летом, когда я прибывал в город на пересменку из лагеря. Петрович мог с похмелья её всю выпить, в зависимости от состояния. Не опохмелялся никогда, даже в выходной, который был один раз в неделю, тогда, в субботу работали по короткому графику. Холодильники все три стояли в коридоре, на Махонинском возвышался чёрный аппарат телефона, необычный, солидный, такой же, как и у вождей в Кремле, ничем не отличался. Так что все всё друг про друга знали, да и скрывать-то особенно было нечего.

Третьи соседи часто менялись почему-то: то были с грудным ребёнком, недолго, то одна сумасшедшая, постоянно твердившая всем и по всякому поводу “будьте любезны”, то старушка-божий одуванчик, бывшая химик, изобретшая стекло кремлёвских звёзд, из которых она могла смотреть на одну крайнюю в окно своей комнаты, выходявшее на Илью Обыденного.

Из холодильника Махонина, был случай, друзья брата, голодные студенты, позаимствовали дюжину яиц (их тогда на дюжины покупали, в кулёчек) и высосали содержимое из дырочек, проколотых иголкой. Лиза охала и ахала, дырочек не разглядела, так и почила, наверное, в Бозе в безвестности относительно такого мастерства. Но Петрович сумел приделать тогда к холодильнику замок. Вообще все бытовые работы по всей коммуналке были на его совести, что значительно облегчило мне моё, как видите, не такое уж суровое детство. Разве что помогал я ему иной раз чего-нибудь “подержать”.

Однако при таком образе жизни, как ни ругалась Лиза, что “ничего ему, паразиту, не делается, алкоголик он, пьянь коричневая”, однова был случай, о котором не могу не помянуть особо. Был зимний вечер, сижу я в своей каморке в три квадрата (до уплотнения тридцать седьмого в ней домработница обитала) и слышу стук, тихий такой, необычайно деликатный. Щёлку приоткрыл — там блестят в темноте коридора очки Андрей Петровича. “Иваныч, — зовёт, — иди, пожалуйста, потолковать нужно”. Я удивился такой конспирации, однако на зов откликнулся, вышел на кухню. Петрович стоит сам не свой, тихий такой, бледный, в руке потухшая папироса.

— Стреляли сейчас в меня, — сообщает доверительно, — чуть не угробили. А моя слушать не хочет, ругается. Разве я пьяный?

Смотрю — действительно, до удивительности трезвый стоит, как вот другой раз с утра бывает. Хмель, как говорится, весь вон вышел. Что оказалось: возвращался он домой как обычно, время было не сильно позднее, но темно уж, под Новый год это у нас произошло. И свернул он с Метростроевской, так тогда улица называлась; на ней в довоенные годы метро открытым способом строилось, как карьер, много тогда, говорят, людей погибло, кто сваливались в него; свернул не в наш переулок, а в соседний, где бензоколонка, у врат бывшего женского монастыря, там ещё Анна Ахматова у кого-то жила, ветхие такие строения, не деревянные, но по ветхости своей обшитые досками были. И вот из окна второго этажа, мезонина, фактически, высывается на мирно ковыляющего, болтающегося из стороны в сторону — это я так себе представляю картинку — моего соседа по квартире № 6, дом 13 по улице Дмитриевского (так тогда переулок назывался), первый подъезд, ствол какого-то, значит, ружья. И крик оттуда же раздаётся: “Стой, генерал, я тебя убью!”

“Ничего себе, — комментирует мне Петрович. — Какой же я генерал? Я столяр!” Он столяр, видишь ли ты, а никакой не генерал. А тут ему снова невидимый этот из окошка, грозный такой, стой, кричит. Не уйдёшь, мол, от правосудия. “Иваныч! — визави мой руки к груди прижимает, вот совсем как в кино показывают, — ну, какой же я генерал?” Действительно. Разве что сапоги вот, и галифе. “Я, — дополняет, — к нему ближе подхожу и объясняю: не генерал я, я столяр! И тут он — р-раз! — и стрельнул! Ты представляешь?!”

Нет, не представляю я, чтоб даже такой сильно нетрезвый, как наш Петрович, человек, каким он завсегда на обратном пути своём с работы домой бывает, вместо того, чтоб дать дёру, ещё ближе подходил, к окошку-то этому

в мезонине. К стволу этому сумасшедшему. Однако Петрович подошёл и встал. Вот где его война нагнала! Это тебе не ров копать противотанковый... Смотрит теперь на меня круглыми глазами, моргает, и очки снял за ненадобностью: “А она меня слушать не хочет, на лестницу вот выгнала. А мне ведь, Иваныч, страшно стало. Чи бачишь, чи не бачишь... Он же, дурак, меня убить мог! Я, говорит, тебя, генерал, всё равно убью!”

Ну, видать, они оба хороши были, и стрелок этот, которого вскорости и забрали оттуда. Андрей Петрович через проходной двор и подворотню до отделения добрёл-таки и обстановку на пятачке между бензоколонкой и надвратной церковью Зачатьевского монастыря доложил. “Я же ведь не генерал, — доложил, — я столяр!” А Лиза его слушать не хочет, обзывается. “Алкоголик, — кричит, — пьянь коричневая”. Это потому что денатурат этот, он коричневого оттенка такой, как и сама вязкая масса, из-под которой его выщеживают. Выкурил я с ним тоже папироску одну за компанию, прямо на кухне нашей, в нарушение общественного режима. Ну, уж по такому особому случаю, чтоб успокоилось. И смех, и грех, хоть стой, хоть падай...

Но главное, чем мне запомнился на всю жизнь Петрович, всё-таки был наш старинный полированный, круглой формы столик, на котором я и сейчас пишу. Происхождение его спорное. Брат утверждает, что купил его папа в комиссионке после войны, когда выпуск отечественной мебели ещё не наладили, а обживать надо было: в 45-м годе родители родили Тёмку и переехали из гостиницы “Центральная” в новый домик, из тех, что строили пленные немцы в районе Беговой. Мама же утверждает, что столик, иногда именовавшийся журнальным, был наследством почившей в начале 50-х годов тёти Мани. Как бы то ни было, им всегда в семье дорожили, чего не скажешь о многочисленных приятелях брата, среди которых было всякой твари по паре, и даже, говорят, однажды забрёл и Юрий Визбор с гитарой.

Я его не помню. Итак, родители дважды в год склонны были уезжать на свою историческую родину, и столик этот подвергался всякой раз жестокому испытанию в виде самого необузданного пиршества этих самых безвестных уже теперь личностей. За два дня до возвращения предков все окна, несмотря на сезон, распахивались настежь для проветривания. А Петрович приступал к своему ставшему, наконец, традиционным священнодействию над столом. Его круглая столешница отмывалась скипидаром, скоблилась, чистилась, шкурилась и покрывалась новым слоем самой дорогой полировки, в результате чего всё-таки она с каждым разом становилась всё тоньше и тоньше, и даже до того, что стала немного прогибаться под тяжестью бутылок. Умели же раньше делать на совесть: до сих пор служит! Петрович же получал свою заслуженную мзду: трояк, то есть пол-литра за 2,87 и нарезной батон за тринадцать копеек. Ну, или пачку сигарет без фильтра. И все были довольны, и ещё космонавты в космос летали.

Так прошло время, и настал срок расставаться. Явились потомки первых хозяев квартиры, репрессированных во время оно, и выкупили у нас эту квартиру, а нас расселили по разным концам столицы. Тоже от слова “стол”, кстати... А потом и Лиза умерла; она к старости сильно болела ногами, которые у неё распухли, как тумбочки у постели. На фотографии с её похорон мы с Петровичем рядом стоим, и оба почему-то с улыбкой. Нервное, наверно. На Ваганьковском. И вот однажды я собрался его навестить. В первый и, как выяснилось, в последний раз.

Добрался я по его адресу от метро “Преображенская площадь” на трамвае. Строение оказалось тоже стилиа конструктивизм, только коридоры на этажах, как в общежитии. Открывал Петрович долго, но открыл. Тоже ногами болел, но от другого. Раньше говаривал, бывало, что, мол, “пил, пью и буду пить”, но, в конце концов, ему врачи запретили это дело строго-настрога, а не то, пригрозили, будешь пластом лежать. Он и испугался. Бросил. И не курил даже, только смотрел и глазами хлопал. В очках, причём, отчего они были у него круглые и крупные, как у людей на рисунках Ильи Глазунова. Осмотрел я его холостяцкое жильё и обратил внимание, что на иконе, которую я подарил Махониным при расставанье, а она была под серебряным окладом, на месте Лика Богоматери и ладошек Её — белое всё.

Снимать я со стены не стал, высоко было и неудобно, но разглядел, что что-то там неладно. “А я и смотрю — понять не могу, — говорит мне старик, — что это с ней приключилось? Только в глазах моих смутно как-то. Не разберу. Белёное вроде как-то...” Я не стал расстраивать, сказал, что, мол, от времени поблекло. Выцарапал кто-то... Безбожники проклятые!

Сижку перед ним, говорить не о чем. Попросил сыграть на гармошке. Он сперва отказался, потом говорит: “Давай!” Ну. Я достал её из кофра, расчехлил, платочком протёр, подаю прямо в руки. Он давай настраивать, и десять минут и пятнадцать... Оказалось, это он так играет. И раньше-то был не Ойстрах, а теперь и подавно... И вдруг объявляет:

— Дочь звонила!

Я чуть с табурета не упал:

— Как, — говорю, — у тебя дети есть?

— А как же, — отвечает Петрович не без гордости, — от первой жены, дочь, Елена.

— Так ты ж не говорил никогда...

— Да ведь никто меня и не спрашивал, — махнул рукой. — И потом, я не знал, жива ли она? Где она...

Выяснилась печальная картина. С матерью этой самой Елены, которая умудрилась найти отца после многих долгих лет злой разлуки, Андрей Петрович развёлся сразу, как попались ему случайно в руки её фотографические карточки, сделанные любителем особого рода. Даже не хочется далее объяснять. Надеюсь, вы догадаетесь. И в фас, и в профиль. Другими словами — во всех видах. И как ни прикрыта была поленькая простушка вуалями да шляпками, муж узнал свою возлюбленную супругу. Узнал и... запил. А потом и проучил. И срок получил, и отсидел, и вышел, и к жене своей уж не вернулся. Я сидел обескураженный и смущённый. Что тут скажешь?..

— Телефон свой оставила. Захочешь, сказала, встретиться, позвонишь. Ты как думаешь, Иваныч, звонить мне ей теперь или нет?

— Звони обязательно, — ответил я.